
СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ
ПОЛТАВСКАЯ БИТВА
1709
ТОМ 4

Сергей Князев

Полтавская битва 1709 - Том 4

«Автор»
2026

Князев С.

Полтавская битва 1709 - Том 4 / С. Князев — «Автор», 2026

Я погиб, вытаскивая своего бойца из-под огня, и очнулся под Полтавой. 1709 год. Теперь я капрал Андрей Рябов, которого собственные солдаты считают трусом. Впереди шведская пехота, в руках непривычная фузея, за плечами опыт современной войны. Я заставлю этот опыт работать: удержу строй, сберегу людей и поведу их вперёд. От недостроенного редута до решающей атаки вместе с царём Петром Первым. Нам предстоит разгромить шведов и вырвать победу, которая изменит судьбу России.

© Князев С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 14
Глава 3 22
Глава 4 29
Глава 5 37
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Сергей Князев
Полтавская битва 1709 - Том 4

Глава 1

Он стоял между нами и лестницей, и пистолет в его руке не дрожал. Оська медленно, не поворачивая головы, заговорил со мной по-русски, громко, про лучину и про то, что внизу, у подножия, будто бы кто-то кричит. Швед на мгновение повернул голову на мальчишку. Этого хватило. Я шагнул вбок, за балку, закрылся ею от ствола и в два шага сократил дистанцию. Швед понял всё и рванул пистолет обратно, но я левой рукой отвёл ствол вверх и в сторону. Курок щёлкнул в пустоту. Я ударил по его руке левым локтем, и оружие вырвалось, стукнуло о балку и покатилось по доскам площадки к ногам Оськи.

Нож висел у меня на поясе. Я выдернул его левой и прижал лезвие к боку шведа, пока тот тянулся за упавшим. Тот замер.

— Не надо, — выдохнул он. — Сдаюсь.

Внизу заскрипели ступени. Фрол и Кузьма, услышав возню, поднимались быстро, но без шума. Фрол первым вышел на площадку, Кузьма за ним, с ремнём в руках. Они связали шведу руки за спиной. Ноги оставили свободными — по отвесным и скрипучим ступеням связанного вниз не понесёшь.

Нож я вернул в поясные ножны, освободив левую руку, поднял пистолет и сунул за кушак.

— Кто тебя поставил на эту башню? — спросил я.

Швед молчал, глядя в чёрный пролёт стены. Допрашивать его здесь, над пропастью, под носом у чужих постов, было нельзя. Отход должен быть срочным.

— Вниз, — сказал я. — Все вместе.

Спускались гуськом: впереди Оська, за ним связанный швед, которого Фрол вёл за локоть, замыкали Кузьма и я. Так мы дошли до земли и ушли в туман, к своим.

Пленного сдали караулу сразу на рассвете. А к полудню этого же дня Оська, устроившись на своём корыте, уже чертил на бересте новый столбец — школа начинала урок.

Полдень бил по выгону так, что трава под сапогами хрустела на корню. Ни облачка, ни ветерка — только звонкая пустота над слободкой и тяжёлый запах прелой соломы от ближайшей копны. Я встал посередине двора, спиной к казарме, лицом к открытой степи, чтобы каждый мог видеть мои руки и не слышать шороха за спиной. Кузьма молча расстелил на плаще трофейные холсты с дырами, положил рядом медное огнивало-зеркало и мою ведомость живых смен. Пять труб, пять столбцов времени, круг смены. Всё то, что я считал ночами до рези, теперь лежало перед девятью парами глаз.

Наряд стоял полукругом. Мокшан чуть в стороне, у костра, плёл новую узду, делая вид, что его тут нет. Оська сидел за спинами взрослых, на перевёрнутом корыте, поджав ноги, и держал палец на углу своей бересты; сама береста лежала перед ним щитом. Терентий пришёл из лазарета, бровь его всё ещё стягивала повязка, но стоять он умел. Яшка протирал свою обычную фузею, смотрел на меня с тем особым вниманием, которое бывает только у тех, кто ждёт команды «фас».

Обошлось без речей и без объявленного устава школы. Я поднял левую руку и отбил ритм: короткий, короткий, длинный. И спросил, глядя прямо в глаза Гаврилову — тому, который вчера целую вахту мучился на угоре и спрашивал «скоро ли»:

— Вчера ночью. Дальняя труба. Кто видел вспышку?

Тишина была плотной, как мокрая дерюга. Не пустой — полной чужими мыслями. Гаврилов мялся, переминался с ноги на ногу, кашлем прикрывая смущение. Он был крепкий дневной боец, умеющий рубить дрова и тащить обоз, но здесь, среди своих же товарищей, судя по его смущению, ему было стыдно признаться, что он не понял.

— Мы, капрал, люди тёмные, — буркнул он наконец, опустив глаза на свои сапоги. — В этих дырках-то… говорят, бес пишет. Холст на трубе — это, стало быть, шведу на нас кажут. А нам своё знать надобно.

За ним гуднул второй ряд. Не злобно, но уверенно. Суеверие работало лучше приказа.

— Научишься читать их знак — начнёшь и думать по-ихнему, — добавил кто-то из учеников второй сотни.

Руки прятались за спины. Так делают на фузейном досмотре, когда ствол грязен, а признаваться нельзя. Все глядели в землю. Я мог закричать, пригрозить трибуналом — я выбрал объяснять. И взял один из холстов, поднял его высоко, чтобы солнце прошло сквозь ткань, подсветив каждую дыру. Ткань оказалась грубой, льняной, с обгоревшими краями.

— Дырки — не буква, — сказал я ровно, без назидания. — Дырка — гвоздь. Посмотрите. Их три. Значит, три крепления. Сеть держится на трёх гвоздях. Это чистая инженерия. А теперь слушайте счёт. Два коротких — один долгий.

Я постучал кулаком по колену: раз, два — коротко, потом один долгий.

— Кто из вас в ночном карауле считает время до смены?

Гаврилов перестал мяться. Он выпрямился. Вопрос оказался понятным. Караул считали все.

— Все кумекаем, — не выдержал Терентий, трогая свою повязку.

— Вот, — я положил холст обратно на плащ. — Это тот же самый счёт. Только тут время меряют вспышками огня. Вы не читаете бесову грамоту. Вы считаете вахту. Кто стоит в дозоре, тот и трубу читает. Не глазами. Руками. Как часы на башне.

Страх не исчез. Но он получил новое имя. Наряд выдохнул. Гаврилов первый вытянул шею к холсту, пытаясь разглядеть три гвоздя-дырки. Но руки всё ещё оставались за спинами. Взрослым мужикам было неловко учиться новому ремеслу при товарищах. Стеснение оказалось сильнее суеверия. И тогда я повернулся к корыту.

— Оська. Иди сюда.

Мальчишка вздрогнул. Посмотрел на меня, потом на строй, потом на свои берестяные записи, которые тайком перерисовывал всю ночь после первой засады. Щёки у него занялись пожаром. Встал, медленно пошёл к плащу, держа перед собой бересту, как щит. На полдороге он замер. Казалось, вот-вот развернётся и побежит назад, в тень казармы.

Из заднего ряда кто-то хмыкнул. «Малы ещё уроки давать», — шепнул голос.

Оська остановился. Его губы сжались в тонкую линию. Я молчал. Я не должен был его спасать. Если я вмешаюсь сейчас, он навсегда останется тенью при партии. Ему нужно было пройти этот путь самому.

И тут заговорил Мокшан. Старик остался при своём плетении, не сводя с него глаз. Игла шла по коже, монотонно, ритмично, как метроном.

— Ты, малой, не про дырки им говори, — произнёс он хрипло, не оборачиваясь. — Ты скажи им, какой огонь когда был. Они ночь рядом с ним лежали, а не видели. Ты — видел за них. Покажи им их же ночь.

Фраза ударила точно в цель. Строй замолчал. Хмыканье умерло. Оська глотнул воздуха. Собрался, переводя взгляд с Мокшана на меня, и вдруг нашёл русло. Не начал показывать холст. Развернул свою бересту, где дрожащим почерком мальчишки были нарисованы столбики и точки.

— Вот, — голос его сорвался, но он прочистил горло и повторил твёрже. — Дальняя труба. Первая вспышка. Две короткие. Одна долгая. Время… время я мерил по караульному счёту.

Тыкал пальцем в бересту, ведя взглядом строку за строкой. На третьем столбце голос окреп. На пятом он уже не смотрел вниз. Обернулся к строю и вдруг спросил Гаврилова в лоб:

— Ты который час на угоре лежал? Ну? Две короткие вспышки видел?

Гаврилов опешил и моргнул. Я ждал, что он помнётся перед вопросом о смысле знаков, о тайных знаниях. А Оська спросил о фактах. О его собственной ночи.

— Видел… — пробормотал он. — Я думал — костёр кто жёг. Или путник лучину занёс.

— А это не костёр, — сказал Оська. И в его голосе впервые зазвенела сталь учителя, которого слушают взрослые. — Это смена. Сеть дыхнула.

Смех окончательно умер. Мне думалось, взрослым мужикам стало стыдно: мальчишка оказался внимательнее их всех. Мальчишка, красный как свёкла, прочитал им то, что они про-

глядели на своём дозоре. Наряд подался вперёд. Гаврилов потёр затылок и бормотал себе под нос: «Вот те и бесова грамота… мал-то мал, а узрел».

Я закрепил момент коротко, без лишних слов.

— Оська при школе — вторым чтецом. Спорить с ним — спорить со мной.

Фрол хлопнул мальчишку по плечу. Оська снова покраснел, но на этот раз от удовольствия. Вернулся к своему корыту, но сел иначе: прямее, увереннее. Его угол у костра перестал быть местом для тени. Он стал учебным столом.

Мне нужно было научить их ставить маяк. Единственная безопасная труба стояла на русской земле, во дворе слободской хаты, и её мы использовали для тренировок. Холст я отдал Мокшану. Взрослому, который ничего не боялся ни на воде, ни на тракте, — и робел перед одним только огневым маяком. Самому упрямому в своём суеверии.

Мокшан неохотно поднялся. Взял холст, подошёл к приставной лесенке у трубы. Внизу горела жаровня с сухими лучинами — для пробы, без настоящего пламени наверху, чтобы дым не выдал позицию до срока. Старик полез вверх. Лесенка скрипнула. Он привязал холст к крюку, развернул его. Теперь нужно было дать сигнал. Две короткие вспышки. Одна долгая.

Взялся за лучину. Первый раз — слишком быстро. Второй раз — замялся. Огонь лёг не в счёт. Сбился. Мокшан остановился на середине лестницы, спиной к строю, и сказал, глядя себе под ноги:

— Не моя это рука, капрал. Я воду знаю. Огонь — не моё. Я могу и сорвать её, и позор навести.

Мне думалось, что старик просто ещё не наладился: руки его сорок лет помнили реку и к сигнальному огню ещё не привыкли, а старое суеверие, видать, ещё сидело в нём, как бы ни называлось новое ремесло.

Я не стал поправлять технику. Не стал говорить «медленнее» или «быстрее». Я встал у самой лестницы и повёл счёт вслух. Но не обычным счётом. Так, как считают шаги в темноте на броде. Тяжело. С раскачкой. С паузами между ударами сердца.

— Но-о-о… ставь ногу… держи…

Такой счёт Мокшан знал сорок лет. Ритм переправы, которым он переходил реки в половодье. Телесная память, которая жила в его мышцах.

На четвёртом счёте его рука сама попала в такт. Лучина вспыхнула. Два коротких. Один долгий. Ровно. Строй ахнул. Не громко, но протяжно. Так звучал успех, которого не ожидали.

Мокшан обернулся на лестнице. На его лице было то же самое выражение, что я видел у Проньки ночью: страх оказался меньше, чем реальность дела.

— Видишь? — сказал я тихо, только ему. — Это не магия. Это ритм. Твой ритм.

Тут же Пронька, который две ночи подряд смотрел только в землю, шагнул ближе. Не подошёл к холсту. Остановился в двух шагах и спросил, почти неслышно:

— А… мне можно попробовать?

Гаврилов, стоявший рядом, дёрнулся.

— Не гони малого, — буркнул он. — Он с ночи серый. Голова кружится.

Но я уже догадывался: он хотел ставить огонь, чтобы перестать бояться.

Я посадил Проньку у жаровни.

— Ты пока читай, — сказал я. — Мокшан будет ставить. Ты будешь считать вслух. Когда устанешь читать — тогда и ставить будешь.

Пронька кивнул. Он начал считать. Раз. Два. И долгий.

Мокшан повторял сигналы. Первый раз — с ошибкой. Второй — чисто. На третьем Пронька вдруг поднял голову. Перестал смотреть на свои ноги. Посмотрел на огонь. Впервые за два дня.

Страх не исчез. Но треснул — в такт счёту: раз, два, долгий.

Ночь проверки должна была показать, работает ли школа без меня. Я разделил людей на тройки. Каждая тройка получала одну трубу и один сектор наблюдения. Задача проста: доклад о смене огня. Никаких действий. Только чтение.

Первая проблема возникла сразу. Живое дело в темноте всегда сложнее плаца.

К полуночи тройка крайней трубы, состоявшая из Фрола, Гаврилова и новичка второй сотни, запуталась. Фрол доложил шёпотом, когда они вернулись к костру:

— Там… там долгой с хвостом был.

Мы подошли к огню. Без крика и обвинений я взял Фрола за плечо и повёл к жаровне.

— Смотри, — сказал я. — Сейчас я дам сигнал. Ты будешь считать.

Я дал два коротких. Один долгий. Фрол повторил. Правильно.

— А теперь представь, что долгий длится дольше. Сердце бьёт раз. Короткий — это одно сердцебиение. Долгий — три. Почувствуй пульс на шее.

Фрол положил руку на горло. Гаврилов, наблюдавший со стороны, тоже положил руку на грудь. Каждый из нас молча держал пальцы на собственном пульсе, и в тишине лагеря было слышно, как трещат горящие сучки.

— Долгой — это покуда сердце трижды бьёт, — сказал я. — Короткий — единожды. Сердце у тебя одно. Вот тебе и мера. Не надо запоминать секунды. Слушай кровь.

Правильная мера сердечных ударов теперь жила у него в теле. Фрол рассмеялся, коротко и нервно. Гаврилов присоединился. Напряжение спало. Этот приём — «мера на сердце» — так и остался законом партии.

Но настоящая проверка пришла позже.

Около второго часа ночи тройка Оськи, где ведущим шёл сам мальчонка, а Пронька и Мокей (пришедший с тракта) были подмогой, поймала сбой.

Оська доложил мне, подходя к костру с серьёзным лицом человека, несущего важное сообщение:

— Дядько Андрей. Огни перекинулись встречь.

— Что значит «встречь»? — спросил я.

— По кругу не шло. Труба слева мигнула. Потом, между нею и ответом правой, мигнула средняя. Получается, они друг другу передают. Через среднюю.

Я замер. Этого не было в ведомости. Этого не было в расписании Хьельма. Это было новое знание.

— Кто идёт между ними? — спросил я.

— Не знаем, — ответил Оська. — Но они светят не нам. Они светят себе. Чтобы кто-то в темноте видел, куда идти.

Я вспомнил свой журнал дороги. Двойные следы. Конвоиры-тени. Сеть охраняла себя.

— Секреты! — крикнул я, поднимая людей из спячки. — Линейные посты, тревога! На западном тракте разъезд!

Секреты линейной цепи проспали бы разъезд, если бы я не поверил мальчишке. Мы выставили усиленный дозор. И через полчаса с запада действительно пришла весть: шведский конный разъезд обходил лагерь по широкой дуге, но, увидев усиленное освещение наших постов и услышав подозрительную активность, предпочёл уйти в темноту, не рискуя.

Ни одного выстрела. Ни одной потери. Школа спасла кровь.

Утром сержант линейной цепи, зевая, подошёл к нашему костру.

— Откуда вы, камышовые, знали про разъезд? — спросил он. — Наши часовые ничего не слыхали.

Взгляд скользнул по Оське, по Проньке, по Мокшану, который чинил сапог и делал вид, что ему всё равно.

— Слышимость хорошая сегодня, — сказал я нейтрально. — Ветер с той стороны дул.

Сержант хмыкнул, не поверил, но спорить не стал. Он ушёл. А наряд остался сидеть у костра. Мы переглядывались, и я впервые почувствовал себя хранителем тайны. Знание кормило дело. И это знание было нашим.

В сумерках, перед разводкой, к костру выкатился проезжий воз. Мужик, серый от пыли, спрашивал дорогу на Бильск. Обычный эпизод. Оська сидел на корыте, перебирая свои берестяные записи. Он машинально посмотрел на воз. Его взгляд зацепился за оглоблю.

Рубчик. Клеймо. Резаный поперёк, глубокой, цепкой рукой.

Оська не подал виду при чужом человеке. Пока я вежливо указывал дорогу на Бильск и мужик, поблагодарив, трогал коня, мальчишка сидел не шевелясь, только пальцы стиснули край бересты. Мокей бросил короткий взгляд на оглоблю — и тоже молча отвернулся.

Когда пыль осела, Оська подбежал ко мне и подал бересту. Уголёк дрожал, но рубчик на рисунке вышел точный: та резьба, тот наклон. Человека он запомнил — серый от пыли, напевает под нос, правит на Бильск.

Я достал журнал дороги и записал первое наблюдение: «Оглобля с клеймом. Воз идёт проезжим трактом. Знак и человека запомнили».

Мокей подошёл, взглянул на рисунок.

— Ляжем и подсмотрим, куда этот воз ходит, — сказал он тихо. — Знак запомнили. Воз — под глаз.

Клеймо стало предметом охоты.

Развязка пришла в виде Гнедина.

Появился на краю плаца поздно вечером, когда наряд расходился по палаткам. Под мышкой нёс папку. Шёл мимоходом, как человек, которому просто нужно проверить порядок. Но порядок тут ни при чём — я это сразу почувствовал: он высматривал, что можно вытянуть.

Гнедин остановил Гаврилова, который возвращался с воды с двумя вёдрами. Тяжёлые, мокрые вёдра качались в руках бойца.

— Слыхал я, вас капрал новой хитрости учит, — начал писарь тёплым, отеческим голосом. — Огни считать. Ну-ка, как они: сперва долгий али короткий?

Папка раскрылась в его руках ровно на чистой странице. Перо было готово. Самый коварный вопрос — простой, подумал я: ответишь по-домашнему, и секрет уплыл. Гнедин не требовал ответа. Он предлагал поделиться секретом, как делятся рецептом кваса.

Гаврилов посмотрел на него. Потом на вёдра, чтобы не расплескать. Я сам при нём вспомнил всё сразу: как вчера он боялся «беса в дырках», как тем же днём Оська, мальчишка, прочёл ему то, что тот проглядел на собственной вахте, как мы спасли лагерь от разъезда.

— А я, господин писарь, глухой к огням, — сказал Гаврилов ровным, спокойным голосом. — Меня счастье обошло.

Он поднял вёдра и пошёл дальше. Ни вызова, ни агрессии. Просто стена.

Гнедин не отступился. Он подошёл к новичку второй сотни, который чистил штык.

— А ты? Тебя учили? Как шум воды считать?

Новичок поднял глаза. По тому, что ответил, вопроса он не понял.

— Нас учили, ваша милость, — ответил он, — как заряд держать. А вода — она сама шумит.

Гнедин стоял посреди плаца. Вокруг занимались своим делом: кто-то точил ножи, кто-то плёл сети, кто-то считал вслух шаги, отрабатывая стойку. Со стороны эти произносимые в такт числа звучали ровно и глухо — то ли есть, то ли нет, не разберёшь.

Партия закрылась. Без приказа молчать. Без клятв. Просто потому, что знание стало общим достоянием рода «камышовых». А чужой человек в нём не участвовал.

Гнедин захлопнул папку. Его лицо дрогнуло. Ушёл, но уходил не побеждённым в бою. Мне показалось, что он впервые упёрся в стену. И пятно на его сюртуке, о котором говорил Левонтий зимой, всплыло у меня в памяти с новой тревогой.

Утро следующего дня началось с того, что Оська сидел на своём корыте и чертил на бересте новый столбец. Не по памяти. По правилам школы.

— Два коротких, — бормотал он. — Один долгий. Мера на сердце.

Я смотрел на него издалека. Школа родилась. Она дышала. Она имела язык.

И в этом языке была одна фраза, которая ещё не звучала, но уже висела в воздухе, как предчувствие грозы. Мы научились читать сеть. Теперь нам нужно было научиться владеть ею. А без ключа тут не обойтись. Каким он окажется — ещё предстояло узнать.

Где этот ключ? В котомке старосты. В возе с клеймом. В расписании, которое никто не ставил.

Подошёл к Оське.

— Покажи, что нарисовал.

Он развернул бересту. Там, помимо обычных отметок, был нарисован треугольник. Вершины — три трубы. Основание — низина, где трава примята вдоль воды.

— Здесь пусто, — сказал Оська. — Но кто-то ходит. Слышишь?

Он показал на место между двумя «дышащими» трубами, где по расписанию не должно было быть огня. Если там стоит промежуточное звено и светит в темноте, обе крайние трубы могли бы видеть его между собой — и тогда на бересте и выходил треугольник. Это была ещё только догадка, но она давала область для проверки на угоре.

Посмотрел на карту. На горизонт. На дальнюю слободу.

— Завтра ляжем на угор, — сказал я. — Три ночи. Сколько будет живого огня.

Оська кивнул. Не спросил зачем. Знал счёт.

Знание стало оружием. И оно требовало действия.

Ночь была тихой, но от этой тишины у меня сводило зубы. Я сидел на лавке у окна казармы, глядя в темноту за валом, и считал живых людей, чья душевная рана на время выбивала их из строя, — тех, кого я потерял внутри их же живых тел. Школа маяков росла быстро: Мокшан уже уверенно вязал узлы, Оська читал смены как молитвы, тройки чтецов ходили по секторам, как по своим комнатам. Но армия — это не только те, кто рвётся вперёд. Это и те, кто стоит на месте, пока земля уходит из-под ног.

У костра, догорающего во дворе, сидел Гаврилов. Он не грелся. Июльская ночь была тёплой, комары гудели над водой, а Гаврилов брал лучину за лучиной, поджигал её кончик и держал над пламенем, пока дерево не превращалось в чёрный скелет. Уголёк падал в пыль. Брал следующую. Четыре обугленных хребта уже лежали рядом с его сапогом.

Вышел. Песок скрипнул под подошвой. Гаврилов не обернулся, но плечи его напряглись.

— Считаем? — спросил я тихо.

Он кивнул. Взял пятую лучину. Поднёс к огню. Рука дрожала так, что искры летели в разные стороны.

— Днём я считаю ладно, — сказал он, глядя на огонь. Голос звучал сухо, без интонации. — Два коротких. Один долгий. Мера на сердце. Всё верно. А ночью... Ночью я боюсь лучины.

— Чего именно?

Глава 2

— Что вспыхнет вся. Раз — и всё. Как тогда, у сарая. Когда брата взяло. Мы думали, что просто дым. А оно само вышло. Раз — и нет человека. Только запах жжёного мяса и пепел.

Гаврилов до этой ночи молчал про сарай. Про своего брата. Он просто работал, стрелял ровно, молчал о прошлом. А теперь прошлое вылезло наружу через трещину в ночном свете.

— Там было темно, — продолжил он. — И мы не могли найти выход. Звали друг друга. А потом... тишина. Тишина страшнее крика. Здесь тишина другая. Она живая. Она дышит. И я не знаю, когда она замолчит навсегда.

Я сел рядом. Протянул руку к костру, взял шестую лучину. Зажог. Держал, пока пальцы не почернели от копоти. Гаврилов смотрел на это.

— Ты тоже боишься? — спросил он удивлённо.

— Я боюсь того, чего не вижу, — ответил я, бросая уголь в пыль. — И того, кого не могу защитить. Но мы учимся видеть. И защищать. Вопрос не в том, страшно ли тебе. Вопрос в том, что ты видел во сне и что ты сделаешь завтра.

Гаврилов замолчал. Он посмотрел на свои руки, грязные от пепла. Потом на дальние трубы, где мигали чужие огни.

— Завтра нас поведут туда, — сказал он глухо. — За вал. Где эти огни живут.

— Да.

— Я там не буду трусом, Андрей. Я там буду столбом. А столб за валом — это яма для своих. Кто упадёт первым? Тот, кто стоит рядом со мной.

Это был честный доклад разведчика: он предупреждал меня, что в решающий миг может оцепенеть и не помочь товарищам. Гаврилов применил мою же науку «только то, что видел сам» против самого себя. И он прав. Страх — это не порок. Страх — это сигнал тревоги, который нельзя игнорировать, если хочешь выжить.

Фрол спал и вскрикивал. Третью ночь подряд. Один и тот же звук, на одной и той же минуте после смены первой тройки. Короткий вдох, переходящий в хрип. Митроха, дежуривший у входа в палатку, только качал головой. Спать Фрол не хотел. Судя по его дневным уверениям в готовности, он уговаривал самого себя.

Утром я нашёл его на угоре, там, где мы впервые слушали, как дышит сеть. Он стоял спиной ко мне, глядя на траву, примятую чьими-то возами ещё вчера.

— Фрол, — позвал я.

Он вздрогнул, обернулся. Лицо серое, глаза красные от бессонницы.

— Капрал... я... я смогу. Я держусь. Просто плохо сплю.

— Ты путаешь долгий с коротким? — спросил я прямо.

Он опустил голову.

— Нет. Я больше не путаю. Я понял счёт. Сердце бьёт три раза — долгий. Один — короткий. Я запомнил.

— Тогда почему ты кричишь?

Фрол молчал долго. Ветер шевелил камыш, издавая звук, похожий на шорох шагов.

— Потому что я знаю цену ошибки, — сказал он наконец. Тихо, почти шёпотом. — Если я ошибусь здесь, на тренировке, меня поправят. Словом или смехом. А если я ошибусь там, за валом... Там не поправят. Там будет мёртвый человек. И этот человек — не я. Это кто-то из тройки. Или Кузьма. Или Оська. Я вижу их лица, когда засыпаю. И они спрашивают: «Почему ты не увидел вовремя?»

Он поднял на меня глаза. В них не было слёз. Был ужас ответственности.

— Я не боюсь смерти, командир. Я боюсь стать причиной чужой смерти.

Кивнул. Понял. Фрол вырос. Страх за собственную жизнь мог бы ещё бросить его в поспешное, безрассудное действие; страх погубить других способен сковать человека сомнением в решающий миг — и эта скованность была, по-моему, опаснее любой лихости.

— Хорошо, — сказал я. — Тогда давай обсудим не твою смелость. А твою полезность.

Полдень. Канцелярская изба пахла чернилами, воском и пылью старых бумаг. На столе лежала бумага за штабной печатью. Текст требовал сухо и властно: «...заведённую при капрале Рябове копию трофейного свитка огневого сигнального счёта списать в канцелярский экземпляр для сверки и хранения, капралу Рябову оную копию сдать подьячему приёмом по описи».

Гнедин стоял у стола, перебирая пальцами край папки. Его лицо выражало вежливую заинтересованность. Он, по-моему, ждал, что я начну спорить, оправдываться, просить времени.

Клоков сидел на стуле, скрестив руки на груди. Он смотрел на меня поверх очков.

— Ну, Рябов? — сказал сержант. — Бумага есть. Форма есть. Отказ есть?

— Отказа нет, — ответил я спокойно. — Исполню сегодня же.

Гнедин улыбнулся уголком рта.

— Вот и славно, господин капрал. Дело государственное.

Развернулся и вышел. Ни слова протеста. Ни намёка на обиду. Гнедин проводил меня недоверчивым взглядом, но ничего не сказал. Поверил ли он, что я сдаю тайну партии ради устава, — судить не брался.

Вечером я вернулся. Я нёс лист бересты. Аккуратно вырезанный, исписанный мелом.

— Господин писарь, — сказал я, подходя к столу. — Вот ваша сетка. Порядок смен. Три трубы. Узлы кушаков. Видимые ориентиры.

Гнедин протянул руку. Я подал лист левой рукой — правая, в перевязи, покоилась у груди — и чуть поклонился. Поклон вышел правильный. Почтительный. Дисциплинированный.

— Сверяйте, господин писарь, — добавил я громко, чтобы слышал Клоков. — Это копия трофейного свитка из четвёртого фургона. Канцелярии — для сверки и хранения.

Гнедин схватил лист, начал читать. Его брови поползли вверх. Он водил пальцем по строкам, сравнивая с расписанием Хьельма, которое лежало перед ним.

— Верно... — бормотал он. — Труба первая... вторая... третья... Время совпадает. Узлы...

Несоответствия в свитке были видны Гнедину с самого первого разбора — и, судя по лицу, он о них помнил. Сверил копию, поднял глаза.

— А живые смены? — спросил он тихо. — Ведомость дышащих труб. Маршруты возчиков. Клеймо оглобли. Того в описи нет.

— В бумаге — копия свитка, — сказал Клоков, не поднимая головы. — По описи. Остальное — разведывательные сведения партии. Доступ ограничен.

Живая сетка, ведомость «дышащих труб», новые маршруты возчиков, клеймо оглобли Оськи — всё это осталось в моей памяти, в журнале дороги и на бересте Оськи. Канцелярия получила вчерашний день врага. Мёртвую схему. Старый труп сети.

— Заношу в опись, — сказал Гнедин ровно. Аккуратно свернул лист, положил в папку. Он ведь спросил о живых сменах — значит, недостачу живых сведений заметил и не забудет.

Клоков встал. Подошёл ко мне ближе.

— Партия читает, — сказал он тихо, только для меня. — Канцелярия хранит.

Я кивнул.

— Он ещё спасибо сказал, — добавил Клоков, усмехаясь в ус.

— Пусть скажет ещё раз. Привыкнет.

Мы вышли. Гнедин остался перебирать бумаги. Мне думалось: недостача живых сведений станет его ножом в голенище, и при первом удобном случае он вытащит его против нас. Правда — при нас. Живая. Дышащая. Опасная.

Вечер. Плац у казармы. Наряд построен. Десять человек, минус двое больных, плюс Мокшан и Оська. Строй стоял молча. Напряжение висело в воздухе — его было слышно по молчанию строя. Слухи о том, что Гаврилов и Фрол «слабы духом», уже разошлись по лагерю, и рота, как мне казалось, ждала расправы. Армейская традиция требует унижения слабости, чтобы укрепить силу остальных.

Вышел перед строем. Левая рука на поясе, правая висела бесполезной тяжестью.

— Гаврилов и Фрол — ко мне.

Оба вышли. Шаги были тяжёлыми. Они не смотрели на товарищей. Смотрели под ноги.

Строй замер. Кузьма, стоявший в первой шеренге, сжал челюсти. Мокшан потёр нос. Оська, сидевший на корыте сбоку, выпрямился и не спускал с меня глаз.

Повернулся к Гаврилову.

— Скажи строю то, что сказал мне у костра. Громко. Чтобы все слышали.

Гаврилов поднял голову. Посмотрел на ряды бойцов. На лица, которые он знал два месяца. На руки, которые держали фузеи.

— За валом я буду не бойцом, — сказал он хрипло. — Я буду столбом. Столб за валом — это яма для своих. Просил командира — не брать меня в первый вывод.

Ряды застыли в звенящем молчании. Кто-то ахнул.

Гаврилов помолчал. Потом добавил, и голос его окреп:

— Деньги за школу не возьму. Научили — спасибо. Я теперь знаю, чего боюсь. И как считать это время.

Он шагнул в сторону, в строй тыловой охраны. Не опущенный, не раздавленный. С достоинством человека, назвавшего свою слабость по имени.

Теперь очередь Фрола. Я не велел ему говорить. Он бы запутался, стыд заткнул бы ему рот.

— Фрол вскрикивает третью ночь, — произнёс я вместо него. — Это не трусость. Это счёт. Он один из всех понял, чем заплатит партия за его ошибку за валом. Понял это первым из всех вас, оттого и кричит.

Фрол стоял бледный, но не дрожал.

— Фрол остаётся при школе, — продолжил я. — За вал не идёт. Чтецом на ближней трубе. До срока, пока счёт не ляжет в сон. Он учится смотреть на огонь и не терять головы. Это тоже работа. Важная. Без неё мы слепы.

Оглядел строй. Глаза встречались со мною. В них не было осуждения. Было узнавание.

— Сетка не держит никого за волосы, — сказал я последнюю фразу. Ту, которая станет законом нашего отряда. — Вернётесь, когда захотите, — приму без слова и без счёта. А кто пойдёт за вал со страхом в кармане — тот положит не себя. Себя — положим стоя, если придётся. Чужих — не положим никогда.

Люди выдохнули. Разом, тяжело. Снимая напряжение ожидания казни. Мокшан снял шапку. Кузьма кивнул мне. Гаврилов, уходя в тыл, обернулся и поклонился шеренге в пояс. Строй ответил молчанием — тяжёлым, уважительным.

Наряд уменьшился. Двое ушли в тыл. Но вера оставшихся выросла. Мы потеряли двух стрелков и приобрели закон.

Разбор завершился быстро. Люди расходились по палаткам. Я остался у стены казармы с Клоковым и Мокшаном.

Сержант достал из-за пазухи нашу большую карту-сетку. Бересту, испещрённую линиями, кружками, зарубками. Он водил пальцем по углам, проверяя замыкание линий.

— Вот здесь у тебя что? — спросил он, остановившись на пустом месте между двумя трубами дальней слободы.

Мокшан наклонился, посмотрел. Я тоже.

— Дальняя слобода, — сказал я. — Труба на пустом дворе за околицей. По ведомости живых смен — работает. Третью ночь даёт сигнал.

Клоков поднял бровь.

— А по расписанию Хьельма? По всем узлам кушаков, что мы расшифровали?

— Её нет. Ни в одном узле. Ни в одной приписке. Никто из известных нам связных её не ставил.

— То есть как — нет? — голос Клокова стал жестче.

— Именно так. Огонь горит ровно, по уставу. Два коротких, один долгий. Но источника нет. Это посторонний огонь. Чужой в нашей карте врага.

Клоков долго молчал. Он смотрел на пустое место на бересте, как на рану.

— Пиши как хочешь, — сказал он наконец. — А я твою сетку в доклад не положу, пока в ней дыра.

— Сержант...

— Проверь трубу, — перебил он. — Кто ставит. Кому светит. Откуда возят. А до того — ни о каком выводе за межу речи не будет. Партия с дырой в собственной карте за вал не ходит. Мы не можем идти вслепую там, где враг видит нас насквозь.

Это было условие. Жёсткое, понятное, военное.

— Три ночи, — сказал я немедленно. — Оська с Мокеем — глаз на тракте. Я с Кузьмой и тройкой — на слободском угоре. Будет результат.

Клоков посмотрел на меня. Прищурился.

— Бери, — сказал он одно слово.

Всё сошлось на необходимости закрыть дыру. Цель следующего выхода стала конкретной: поймать того, кто зажигает огонь без разрешения сети.

Вечер упал на лагерь фиолетовой мглой. Дым от кухонных печей стелился низко, пахло варёной репой и мокрой землёй. Я шёл к своей палатке, чувствуя, как усталость наливает ноги свинцом.

На пути мне встретились Оська с Мокеем. Оба были при бересте, при кнутовищах.

— Дядько Андрей, — сказал Оська тихо. — Идём смотреть трубу и тракт. Тот воз, с оглоблей. Проверим, каким ходом он ездит.

Остановился.

— Договор.

— Сядем на угоре над гатью, — сказал Мокей. — Я — у самой дороги, малой — на ветле. Один удар кнутовищем — идёт. Два — тревога, чужие. Три — бежим. Как займёт труба — глядим оба: сам ли светит возчик и кто ему ответит.

— Оську с ветлы не снимать, пока не отойдут, — сказал я. — Доложишь на рассвете.

— Доложу, — кивнул Оська и спрятал бересту за пазуху.

Подготовка была сделана: этой ночью воз ложился под наблюдение.

Я пошёл дальше. В голове крутилась одна мысль: сеть живёт не только огнями. Она живёт деньгами. И тот, кто платит, имеет право ставить свои маяки. Даже если их нет в расписании Хьельма.

Ночью они лягут на тракте. Три трубы. Одна дыра. И ключ к выходу за вал.

Ветер с тракта нёс запах мокрой соломы и навоза, но для меня пахло не полями. Пахло железом, порохом и чужой ошибкой. Мы лежали в копнах, зарывшись в сухую траву так, чтобы ветер тянул от двора на нас, в лицо. Если бы мы дышали громко, они бы услышали. А если бы мы стояли, нас бы увидели. Здесь, за околицей дальней слободы, мир делился на два звука:

шорох камыша у воды и скрип колеса по гати. И я должен был понять, который из этих звуков убьёт меня первым.

Кузьма лежал рядом со мной, его фузея держала темноту за ометом. Он не смотрел на меня, но я чувствовал, как напряжены его плечи. Первая пара. Топор под рукой. Голос счёта, ставший голосом смерти, если понадобится. Оська сидел на ветле над дорогой, кнутовище прижато к голенищу. Один удар — «идёт». Два удара — «тревога, чужие». Три удара — «бежим или умираем». Мы договорились об этом ещё днём, когда я лично выкупил у бабы жирный сухарь, намазанный салом. Пёс у трубы грыз его в отдалении, свернувшись клубком в полыни, и тишина вокруг двора стояла звенящая, как натянутая струна. Я знал: пока пёс грызёт сухарь, двор чист. Хруст стихнет — кто-то уже вступил на двор, и тогда надо проверять, кто.

Труба остыла без огня. По ведомости живых смен, которую я вёл левой рукой до рези в глазах, эта точка должна была вспыхнуть ровно час назад. Час прошёл. Второй начался. Кузьма перестал шевелиться. Мокшан, наш проводник и учитель воды, замер у края канавы, где трава примята сильнее всего. Оська на дереве стал похож на тень тени.

Я считал секунды по привычному караульному ритму. Ветер при этом стихал. Это было хуже всего. Тишина перед бурей или перед выстрелом? Для сети это значило одно: сигнал просрочен. Кто-то забыл зажечь. Или кто-то ждал, пока придёт настоящий хозяин огня.

И тогда с тракта раздался глухой, короткий стук. Раз. Кнутовищем по голенищу. Не тревога. Приход.

Партия вжалась в землю. Скрип оси, нарастающий, как головная боль. Воз шёл шагом. Тяжёлый, неторопливый ход. Бубенцов на конях не было — бубенцы выдают всадника, а возчик хочет быть незаметным. Хозяйский шаг. Не побег, не патруль. Рабочая лошадь, тянущая работу.

Воз въехал на двор пустого хутора. Я видел силуэт человека, правящего конём. Возчик не остановился у ворот, не привязался к колышку, проехал прямо во двор, мимо завалинки, и свернул к печному остову. И здесь началось странное. Человек не полез на крышу с холстом, не доставал масло. Он подъехал к трубе, слез с воза, подошёл вплотную и... снял её.

Да. Снял. Как снимают шапку. На вершине кирпичного остова висел связанный узлом кусок ткани и жестяная будка с фитилём. Мужчина аккуратно, привычным движением руки отстегнул крепления и снял будку с прута, торчащего из кирпичной кладки остова, следом снял и холст. Всё это он уложил в котомку, а затем снова извлёк оттуда — будку и холст вместе. Развязав холст, он достал огниво, высёк искру и зажёг фонарик внутри будки; свет был тусклый, ровный, как лампа в избе, пока он осматривал фитиль. Потом он вернул будку на прут и накрыл остов холстом. Холст дал два коротких. Один долгий.

Маяк жил в котомке. Сеть оказалась возимой. Не пост. Курьер. Курьер, который едет по расписанию, зажигает свет там, где нужно, и увозит его с собой, чтобы следующий день начать с нуля. Моя сетка на бересте была картой дорог, но не живой крови врага. Я читал места, а враг двигал время.

Поймаю источник — тогда и пойму всё. Я поднял руку. Жест двумя пальцами вверх. Люди ждали в готовности.

Но тут за ометом, в глубокой тени, шевельнулась другая тень. Конская грива блеснула в лунном свете. Верховой. За кушаком — рукояти пистолетов. Их двое. Возчик ехал по своему почтовому делу, охранник караулил его. Я поднялся из копны и подошёл к плетню. И этот охранник сейчас заметит меня.

Глава 3

Я вышел из-за плетня. Медленно. Левая рука держала нож, правая висела бесполезной тяжестью, но я не прятал её. Я хотел, чтобы меня видели. Чтобы меня запомнили.

— Счёт смены, — произнёс я вслух. По-шведски. Ровно, с тем же выговором, которым мне отвечал язык. — Два коротких. Один долгий. Время истекло. Почему медлишь с ответом?

Лицо мужика у трубы побледнело, и он от ужаса сел на завалинку. Мне думалось, он принял меня за шведский патруль, которому подчиняется за оплату: за того, кто проверяет сроки и платит серебром за минуты точности. Он начал бормотать оправдания, торопливо, глотая слова, указывая на будку:

— Я... я староста здешний, ваша милость, не ратник... ждал ветра... фитиль сырой...

Его охранник за ометом не ждал объяснений. Услышав шведскую речь, исходящую из темноты, он, по моей догадке, понял главное: своих нет, чужой знает пароль смены, чужой стоит слишком близко. Рука охранника метнулась к кушаку. Щелчок взводимого курка разрезал тишину, как бритва режет кожу. Звук ударил так громко, что, казалось, эхо должно было ударить по всем окнам слободы.

Выстрела не последовало.

Кузьма не кричал. Не стрелял. Просто лежал и целился с той секунды, как над ометом блеснула грива коня. Его фузея смотрела охраннику в лоб с двадцати шагов. Кузьма сказал тихо, спокойно, как звук закрываемого засова:

— Сидеть, зараза.

Охранник замер. Курок оставался взведённым, палец на спуске, но тело превратилось в камень. Кузьма уже держал охранника на прицеле; в руке у стража торчал один взведённый пистолет, второй оставался за кушаком. Староста на завалинке посмотрел на охранника, потом на меня. Я прикидывал: крикни он или рванись с места, шведская пуля снимет его с завалинки тут же, быстрее любой русской. Оставалось худшее: если он останется сидеть, ему придётся смотреть, как его страж гибнет под русской мушкой.

— Кому платят за огонь, тому и огонь? — спросил я, подходя ближе. Мой голос звучал по-русски, резко, в упор. Никакой вежливости. Только цена вопроса.

По всему выходило: этому торговцу сейчас нужно было выбрать, кому подчиниться ради жизни — тому, кто говорит на его языке, или тому, кто может заставить замолчать его охранника.

— Я и вашим, и ихним, — выпалил он быстро, почти истерично. — Кому заплатят, тому и огонь. Холсты вожу сам. Будка моя. Расписания не имею. Веду по зову. Деньги нужны. Шведы платят за срок. Русские... русские платят за жизнь.

Он признался за три секунды. Без пыток. Без угроз. Просто страх сделал всю работу за меня. Он показал на котомку. Внутри лежали монеты, два тяжёлых кошелька. И бумага. Свернутая в трубочку, скреплённая восковой печатью.

И тут дважды ударило кнутовище. Тревога.

С тракта, со стороны леса, послышалось цоканье копыт. Не одно, не два. Много. Фонари качались в темноте, приближаясь к слободе. Ночной дозор. Трое конных. Они шли на шум? Или просто по маршруту? Для старосты это означало конец. Если шведы увидят его с русскими, его повесят на первом же суке.

Охранник всё ещё сидел в седле под мушкой Кузьмы. Мокшан бесшумно поднялся из канавы, выбил пистолет из его руки в траву, второй вывернул из-за кушака, стянул охранника с седла, связал его руки и втолкнул за омет, подальше от дороги. Кузьма перенёс прицел на старосту и держал его.

— Труба, — сказал я старосте одними губами. — Обычный сигнал. Ровно, как каждую смену. Глядишь на меня — умрёшь.

Староста встал к своей трубе, как штатный работник к печи. Русские залегли в траве и в тени плетня. Кузьма остался лежать в двадцати шагах, ствол смотрел старосте в спину. Дрожащими, но привычными руками тот накрыл горящую будку холстом и открыл снова. Два коротких. Один долгий. Обычная смена, обычный час. Дозор проехал по краю слободы, фонари качнулись мимо двора, мимо трубы с ровным светом, и ушли дальше в темноту. Никого. Обычная работа.

Когда копыта затихли, я подошёл и вынул расписку из котомки старосты — свёрнутую в трубочку, скреплённую восковой печатью. Будку с прута не тронул: одну будку оставили хозяину, чтобы его смена осталась его сменой. Из двух кошелей Мокшан ссыпал серебро в наш мешок — касса врага шла с нами. Три монеты я вернул старосте.

— За один сигнал подтверждения. Обычный порядок. Позднее этой же ночью — светишь, как светил.

Он сглотнул и кивнул.

Расписку я развернул по свету фонарика. Перевод ложился сразу: «За срок русского выхода к переправе. Завтрашняя ночь». Значит, шведы ждут нас у переправы завтрашней ночью. Значит, партия обойдёт переправу в другом месте и упредит шведов.

С ветлы над дорогой ударили кнутовищем по голенищу — сигнал Оськи с соседнего наблюдательного поста. Через минуту из темноты вышел Мокей, тяжёлый, тихий, с кнутом в руке.

Оська слез с ветлы и, под охраной Кузьмы, подошёл к оглобле воза. Приложил бересту к рубчику — резьба совпала с рисунком по всей линии.

— Тот же воз, дядько Андрей, — сообщил он шёпотом. — Ходит и к трубе, и трактом.

Мокей вынул грош и вложил мальчишке в ладонь.

— За зоркость. Одно время — один грош.

— Смотри за ним, — сказал я Мокею. — До того сигнала, о котором договорились. Досветит — уйдёшь домой. И никому.

Мокей кивнул и сел в тень у плетня. Пленного довели до русского караула — связанного, молчаливого, сдавленного собственным страхом. А мы, не теряя ни часа, пошли назад, к лампе, к трём листам бересты, которые ждали нас в палатке.

Лампа чадила. Масло в ней почти выгорело, фитиль шипел, и тень от него плясала на бересте, как живой человек. Я тер глаза левым рукавом, потому что правая рука висела мёртвой гирей, прижатой к боку перевязью. В глазах стоял туман оттого, что я смотрел в одну точку слишком долго. Три листа. Три мира. Они не хотели сходиться.

На первом листе — рисунки узлов с бирки из лощины, сработанные Оськой. Контрольную нить навязал Мокшан, отдельно, не к бирке. Знаки читались просто: один виток — один день, сдвоенный — пять, прижжённый — десять, а поворот дороги и гать — каждый своим знаком. Это язык возниц, язык земли, грубый и понятный телу.

На втором листе — моя ведомость живых смен. Палочки, точки, время вспышек. «Два коротких — один долгий». Это язык сети, язык огня, точный и жестокий.

На третьем — подлинный письменный свиток из четвёртого фургона, трофейное расписание Хьельма, с припиской мелом неизвестно чьей рукой. Мёртвая бумага, которая врёт каждый час.

Я водил пальцем по линиям, соединяя их в голове. Узел говорит: «воз шёл к слободе А». Живая смена кричит: «труба Б мигала». Расписание молчит об обоих. Между ними зияет дыра. Слепое пятно. Его нельзя увидеть с нашего вала, его нельзя предсказать по бумаге. Оно существует только в темноте, между огнями, там, где ветер путает звуки.

— Не бьётся, командир, — голос Кузьмы донёсся из угла палатки. Он сидел спиной к порогу, точильный камень шуршал в такт словам — ровно, успокаивающе, как дыхание спящего зверя. — Три разные руки писали. Одна правду прячет, другая врёт. А мы тут сидим, будто они нам сами всё скажут.

Кузьма прав. Правда лежит не на точках. Она лежит в пространстве между ними.

Оська уснул прямо на столе. Голова мальчонки придавила угол расписания Хьельма, и он прогнулся под тяжестью сонного тела. Лампа качнулась. Тень метнулась. И тогда я увидел её. Чёрную точку. Жирную, размытую муху, ползшую по краю бересты. Она остановилась там, где стык двух дат должен был быть пустым местом. Там, где узел кушака указывал на север, а живая смена — на запад. Муха замерла посередине. Как знак вопроса, нарисованный лапками.

Я одной левой ладонью поддержал тяжёлую голову Оськи и аккуратно переложил её на край стола. Мальчишка всхрапнул, но не проснулся. Я взял вторую чистую бересту. Уголёк уже ждал в руке.

Мокшан, дремавший у порога, открыл один глаз. Старик не читал грамоты, но он чувствовал воду, как рыба чувствует течение. Он встал, подошёл к столу, потянул носом воздух и ткнул толстым, узловатым пальцем в журнал смен.

— Ты глядишь на точки, служивый, — хрипло сказал он. Говорил он со скрипом мокрого дерева. — А надо слушать, как они дышат.

Он повёл пальцем по столбцу времени.

— Вот эта, на Хрести гати. И вот эта, за болотом, у дальней слободы. Они горят в ответ друг другу. Одна мигнет — вторая через два счета отзовется. Это не две трубы. Это одна пара. А между парой, поди, стоит третий. Тот, кто переводит разговор.

Я замер. Сердце сделало двойной удар.

Пара «дышащих труб» означала — если я верно догадывался, — что сигнал идёт сквозь них, через промежуточное звено. Тогда где-то должен быть физический объект, который принимает эстафету огня и передаёт её дальше. Такой объект не виден с нашего вала, если он ниже горизонта. Выходит, прячется в низине. В том слепом пятне, которое мы не могли найти глазами.

Я быстро начертил прямую линию между двумя «дышащими» точками. Посередине поставил знак вопроса.

— Где низина? — спросил я Мокшана.

— Там, где трава примята вдоль воды, — ответил старик, не задумавшись. — Куда мы шли, когда Оська тревогу дал. Слепое пятно. Туда, куда ни швед, ни свой не ходят без нужды. Но маяк там, поди, стоит — в низине его сверху не разглядишь. Значит, туда ходят за деньгами.

Сетка начала складываться. Линия соединила узлы кушаков (руки торговца), живые смены (глаза сети) и географическую низину (место встречи). Три источника стали одним рисунком. Я видел теперь карту дорог и сквозь неё — схему кровотока врага. И знал, где находится сердце этого потока.

Дверь палатки распахнулась. Вошёл Клоков. За ним, держась чуть позади, шагнул адъютант генерала Вейля, капитан фон Гольц. Их позвали «посмотреть на метод». Адъютант пах свежим сукном и презрением. Он посмотрел на наш бардак — на бересты, на угольки, на спящую собаку-мальчонку — и скривился, будто ему предложили пить из лужи вместо чаю.

На столе лежали три листа. Теперь они были связаны одной линией.

Клоков хмурился. Гольц сомневался, разглядывая разложенную бересту, и по мне, работа с верёвками и палочками на фоне штабных карты, линейки и компаса и вправду выглядела очередной капральской самодеятельностью.

О методе я промолчал. Я положил перед ними четвёртый предмет. Шведскую расписку. Ту, которую я вынул из котомки старосты под дулом фузеи ночью у слободы. Это было не письмо. Это была квитанция. Бумага, пахнущая салом и страхом.

Гольц наклонился, прочитал вслух перевод, шевеля губами. Его лицо изменилось. Презрение испарилось, сменившись вниманием хищника, почуявшего кровь.

— «За срок русского выхода. Принято. Платёж произведен», — прочитал он тихо. Подпись неразборчивая, каракуля, но дата стоит. Завтрашняя ночь. Место: переправа у Ворсклы.

— Они знают, что мы пойдем? — спросил Клоков. Голос у него стал сухим.

— Они не знают, что мы пойдем, — поправил я. — Они купили информацию, что мы можем пойти. Староста торговал сроками. Он сказал им, что русская партия может выйти за вал в ближайшие ночи. Шведы заплатили за предупреждение. И теперь они ждут нас у переправы. Не чтобы убить сразу. Чтобы взять живьем или уничтожить, пока мы идем вслепую, думая, что сеть ещё наша тайна.

Я указал на свою новую сетку. На угольную линию, идущую сквозь низину.

— Но я знаю, где они ждут. Я знаю их маяки. Я знаю их смены. Если мы выйдем сегодня ночью, минуя переправу, и ударим в это слепое пятно, мы попадем в стан перевального склада, пока они не поймут, что староста продал им ложь. Окно — одна ночь. Завтра сеть получит правду о том, что мы прочитали её, и все трубы погаснут навсегда.

Гольц посмотрел на Клокова.

— Это нарушение приказа о неподвижности фронта, — сказал адъютант. В его голосе звучал металл устава. — Самовольный выход за межу карается...

— Карается смертью, — закончил Клоков. Он не смотрел на адъютанта. Он смотрел на меня. — Ты предлагаешь мне подписать приказ, который отправит людей в пасть врага, основываясь на клочке бумаги от вора-старосты?

— Я предлагаю вам выбор, господин сержант, — я положил руку на сетку. Береста хрустнула под ладонью. — Сидеть здесь и ждать, пока Хьельм узнает от старосты правду о том, что мы прочитали его сеть. Тогда он закроет все трубы, изменит узлы, и мы потеряем всё, что добыли за месяц. Или выйти сейчас, пока сеть думает, что мы слепы, и использовать их же знание против них. Мы войдем в их дом, пока они ждут нас у порога.

Тишина. Только потрескивала лампа и сопел Оська. Клоков долго молчал. Он смотрел на расписку, потом на сетку, потом на моё лицо. Я понимал, какой выбор ему выпал: приказ фронта против военной необходимости, страх ответственности против жажды победы. Клоков слыл сержантом уставным, осторожным, из тех, кто выговоров боится больше пуль. Но оставался он и солдатом — я сам вспоминал камыши и обоз муки, где мой метод уже работал, и надеялся, что он вспомнит то же.

Я стоял, опираясь левым плечом о стол, и ждал, не давя. Решающий ход был за мной, но право выбора оставалось за командиром.

Наконец, Клоков сел. Он достал из ящика чистый лист, макнул перо в чернила. Рука у него дрожала, но перо писало уверенно.

— Пиши текст, капрал, — буркнул он, не поднимая глаз.

Я диктовал медленно, четко, следя за каждым словом:

— «Партии вольного состава под началом капрала Рябова выйти за Земляную межу для розыску перевального стана неприятельских магазинов. Ответственность за исход операции и нарушение положения о фронте принимает на себя начальник участка сержант Клоков.»

Клоков переписал это своей рукой. Крупным, нервным почерком. Ставил подпись. Прижал печать участка — горячий сургуч зашипел. Он отделил подписанный лист от заготовки, свернул и подал мне в руки. Документ остался цел, бумага под ладонью тёплая.

— Если вас найдут мертвыми, я скажу, что вы дезертировали, — сказал Клоков, наконец поднимая взгляд. Глаза у него были красными. — Если вернетесь с головой врага — я скажу, что приказ был мой. Иди.

Гольц молча развернулся и вышел. Он не стал спорить. Сетка работала. Доказательства лежали на столе. Кажется, он решил, что этот капрал опаснее любого штабного интригана.

Я вышел из палатки. Воздух был холоден, пах гарью и мокрой землёй. Из темноты шагнула фигура. Фрол.

— Командир, — сказал он тихо. — Отпустил меня ты честно, и я ушёл честно. Но я немного поспал — и той же ночью проснулся. Лежал и понял: без дела хуже, чем со страхом. Возьми меня в прикрытие. С фузеей. Не чтецом, не на ближнюю трубу — в пару, за вал.

Я посмотрел на него. Лицо было серое, но стоял он твёрдо.

— Счёт помнишь?

— Сердце: раз — короткий, трижды — долгий.

— Показывай.

Я подал ему зажжённую лучину и сел на корточки у жаровни. Фрол поднял её. Раз. Два. Пауза. Долгий, на три удара сердца. Ровно. Ни дрожи, ни сбоя.

— Допущен, — сказал я. — В самое прикрытие, до самого конца похода.

Он выдохнул и отошёл к стройным силуэтам у края двора. Партия собрана: Кузьма уже стоял с топором, Мокшан проверял переметы, Яшка с фузеей на плече, Прокоп и Пронька затягивали кушаки. Семеро. Оська оставался при школе, при Мокее, Гаврилов — в тылу. Всё сошлось.

— Я в первой паре, — сказал Кузьма. Голос его был спокоен, как сталь.

Я кивнул. Кузьма сказал «иду первым» — самой сталью топора. Люди поняли. Канцелярия получила вчерашний день. Армия получила удар.

Угор перед рассветом. Партия уже двигалась вниз, по примятой траве, к грушевому кресту и дальше, в неизвестность. Минуту я оставался один — и достал из-за голенища указ. Сверял его с сеткой, лежащей в котомке. За валом, в глубине степи, виднелись силуэты труб. Тишина. Абсолютная, звенящая тишина чужого мира.

И вдруг, ровно в тот момент, когда я считал про себя «два коротких — один долгий», на дальней, самой незаметной трубе в слепом пятне, вспыхнул белый огонь.

Не случайный — сигнальный. Купленный. Плановый. По моему счёту. По моей сети.

Я улыбнулся. Знал, кто его зажег; знал, сколько за это заплачено серебра. Это окно было куплено сегодня — на одну ночь, на наш выход.

Я сказал в темноту, негромко, как самому себе.

— Читай. Твоя смена.

Развернулся и ушел во тьму, догонять своих.

Глава 4

За Земляной межой, в глубине чужой стороны, вспыхнул белый огонь. Он горел недолго и ровно, как горел вчера и позавчера, но нынче он был куплен нашими тремя монетами: староста взял плату из наших рук, и Мокей с той стороны межи присматривал за ним, отмечая каждую вспышку. Одно наше окно, не вся сеть, — и тем вернее было по нему сверять время. Мы вышли за межу ещё до его вспышки, и теперь он сигналил нам издали: порядок не менялся, ночь шла своим чередом.

Нас было семеро. Я, Кузьма, Мокшан, Яшка, Фрол, Прокоп и Пронька. Оську не брали: мальчишка остался в тылу, при Мокее, на ставушке у последней перелески. Мокей считал вспышки с той стороны межи, мы — с этой, и на сходе сведём оба счёта. Фрол шёл при фузее добровольно: после короткого сна никто его не уговаривал, он сам перекинул ремень через плечо и молча встал в арьергард. Яшка нёс вторую, и ствол её был вытерт углём, чтобы не блестел.

Собираясь перед выходом, я взял со стола подсумок Саввы — тот, что Терентий перед лазаретом вернул Кузьме, а Кузьма положил на мой стол. Подсумок повесил на пояс, слева, где левая рука дотягивалась до него без правой. Перед самым выходом Клоков молча вложил мне в левую руку своё огниво: твоя ночь — твой огонь, говорил этот жест без слов.

Первую остановку мы сделали в складке местности, под старой ольхой, куда свет чужих огней не доставал. Огонёк старосты стоял далеко, и его ровное сияние нас не прятало: оно лишь сигналило издали, помогая сверять время. Я достал трофейное расписание, снятое ещё с фургона, — писаный лист, ровные строки смен. Читать его пришлось при зажжённой лучине: Фрол заслонил огонёк ладонью и полой, и слабый свет лежал на бумаге.

Поверх чернил лежали меловые приписки, иные — поправкой, иные — крестом. Чьей рукой правлено, Хьельма ли самого или сменщика при трубе, мы не знали: личное авторство оставалось неизвестным, и потому сверять лист надо было по живой ночи.

Я разложил рядом ведомость трёх ночей, выведенную нами в прошлый выход. Три ночи, три очереди вспышек. Нынешние огни ложились на неё не везде. Четыре периферийных огня горели на своих местах, как и было записано. А пятой точкой оказалась пустая низина — тёмный провал между трубами, где не горело ничего. Значит, прямая из огней не складывалась: пятым ориентиром служила сама темнота.

— Треугольник? — шепнул Кузьма.

— Не спеши, — сказал я. — Тридцать минут смотрим. Тридцати минут не хватает, чтобы доказать шесть часов цикла. Это гипотеза, и стоит она пока в темноте. Проверим — тогда и назовём.

Мы стояли и считали. Вспышка, пауза, вспышка. Я не позволил себе вывести на бересте готовый чертёж стана: расположение, не доказанное ночью, опаснее незнания. Записал только: четыре огня по старым местам, низина пустая, ритм сходится не весь.

Сперва донёсся мерный, тягучий скрип осей, потом на дороге показался воз, а на бугре качнулся огонёк-маяк — ответный, малый, будто фонарь под холстом. Воз-маяк шёл к кромке, и путь его ложился мимо нас.

— В топь, — сказал я одними губами.

Семеро не пошли гуськом — семеро легли. Вперёд, на поддерживающие кочки, по одной на каждого: моховые кочки держали вес и не расходились волнами. Ложились без плеска, всем телом, распределяя тяжесть на локти и колени. Фрол и Прокоп, замыкавшие, на ходу заметали следы: Прокоп тянул хворостину, Фрол приминал ею примятую траву, притирая край, чтобы ни один стебель не указывал на наш ход.

Ночь уже подходила к красному свету: край неба над межой начал наливаться тусклой предрассветной красниной. Времени оставалось меньше, чем казалось в темноте.

Воз подходил. Скрип становился ближе, огонёк на бугре качался ровнее. Мы лежали на кочках, семь неподвижных бугорков среди мокрого мха, и ждали, пока чужие колёса прокатят мимо.

Он проехал мимо, не сбавляя шага коней. Скрип оси затих в гуле воды, и только тогда я позволил себе разжать челюсти. Пальцы левой руки всё ещё были сжаты в кулак и побелели от натуги. Мокшан поднялся первым, выжимая из штанов грязь, посмотрел на меня и кивнул: «Ушли». Не враг ушёл. Мы. Но разница между этими словами в ночи была минимальной, а цена — огромной.

Мы лежали на примятой траве, посреди болотной топи, там, где по всем человеческим понятиям жить нельзя, а по моим расчётам — прятаться лучше всего. Воз-маяк, чужой глаз сети, прошёл по кромке, режа путь назад к валу. Он нас не увидел. Топь съела наши следы быстрее, чем колёса доехали до места, где пять минут назад стояли четырнадцать ног. Но сам факт его присутствия означал одно: дорога, которой нет на сетке Андрея Рябова, живёт своей жизнью. И кто-то её читает.

— Поднимаемся, — сказал я шёпотом. Голос сел от холода и напряжения, но команда прошла сквозь цепь телом. Кузьма уже поднимался, опираясь на свой топор как на посох. Яшка, бледный, но собранный, тянул фузею за собой из лужи. Фрол помогал мне встать, и когда моя правая рука мёртвым грузом повисла вдоль тела, он не спросил, больно ли. Он просто подставил плечо. Это было правильно. В этом мире слова стоили меньше, чем жест, если жест спасал время.

Мокшан повёл нас дальше, вниз по склону, туда, где вода уходила в сухую ложбину. Там, среди старых канав, заросших бурьяном и полынью, можно было пережить день. Рассвет уже трогал верхушки камышей серым светом. Если мы останемся здесь, на открытом месте, к полудню нас увидит любой пастух или дозорный. Нам нужно было лечь. Нам нужно было вычислить. Чужая тропа требовала ответа, и этот ответ могли дать только тишина и глаза.

Ложбина была старой. Когда-то тут копали торф или глину для хуторских печей, а потом бросили, и природа затянула раны дерном и соломой. Дно канавы пахло прелостью, мышью и сырой землёй. Это был запах безопасности. Запах того, что тебя здесь никто не ждёт, потому что сюда даже нормальный человек не полезет без нужды.

Я осмотрел место. Вода просачивалась снизу, образуя мелкие лужицы, но берега были плотными, сплетёнными корнями. Идеальная позиция для дневки.

— Сапоги, — приказал я.

Люди смотрели на меня удивлённо. Хромая через топь, они хотели есть и спать.

— Сапоги снять. Вырыть яму ножом по центру. Ноги опустить в углубление, не засыпая. Портянки оставить мокрыми возле ямы, чтобы высохли в тени.

Кузьма хмыкнул, но взялся за работу. Его топор легко справился с мягкой почвой. Мы делали это молча, быстро: приказ принимался без расспросов, и каждый работал так, как я велел. Правая рука всё ещё ныла, обтянутая ремнём к рёбрам, но левая работала уверенно. Я копал свою яму, чувствуя, как холодная глина забирает тепло стопы. Правая ладонь, обожжённая ещё до выхода, тянула тупым ровным жаром сквозь повязку, и усталость двух ночей осела в плечах свинцом. Я работал через эту старую боль — она была знакомой ценой, не новостью. Впереди могла ждать неизвестная засада, и осторожность перед ней стоила дороже любой догадки.

Когда ямы были готовы, партия расселась вокруг них, спиной к стенкам канавы. Лица скрыты тенями шляп и капюшонов. Теперь, если кто-то пройдёт над логом, он увидит только землю и корни. Ни лица, ни блеска оружия. Оружие легло внутрь ям, стволы прикрыты пучками травы, чтобы не сверкали на солнце, а дульные отверстия оставались свободными. Пороховые сумки — в центр, под защиту корпусов товарищей.

Яшка уснул первым. Голова его упала на плечо Кузьмы, и старший солдат замер, чтобы сон мальчишки не потревожить. Он сидел неподвижно час, пока мальчишка спал, и его лицо было спокойным, как у каменного идола. Это была та пара, что стояла на угоре перед выходом. «Я и смотрю по твоему», — помнил я его голос. Теперь он смотрел по моему счёту сна.

Остальные спали по очереди. Три часа на одного. Трое бодрствуют. Таков порядок. Я сидел с открытыми глазами, глядя на полоску света вверху, и считал. Не вслух. Про себя. Два коротких — один долгий. Ритм моего сердца совпадал с ритмом шагов колонны, которую я привёл сюда. Это помогало думать. Помогало не чувствовать боли в руке и холода в ногах.

Полдень прошёл медленно. Жара спала, но духота в канаве оставалась. Над нами дважды пролетал коршун. Его тень скользнула по соломе, и Фрол, дежуривший с краю, вздрогнул, потянув руку к ножу. Я качнул головой. Птица. Опасность в логах часто имеет перья и крылья, а не ружьё. Фрол расслабился, но нож из руки не выпустил. Урок принят. Тело учится отличать страх от угрозы.

Вода в нашей ямке, которую мы выкопали для питья, начала мутнеть. Солнце грело сверху, и пар поднимался тонкой плёнкой. Если бы мы не накрыли угол мокрой дерюгой, блеск воды мог бы стать виден с километра, как сигнал маяка. Я сам положил тряпку поверх, придавив краем сапога. Дисциплина мелочей спасает жизни. Мы воюем даже тогда, когда спим.

Солнце давно перевалило за полдень и катилось к вечеру: волна жары спала, и тени в канаве вытянулись во всю длину. Пора было работать.

Дневная школа закончилась. Наступило время вычисления.

Я достал берестяную сетку. Три источника данных лежали передо мной, несводимые, противоречащие друг другу. Первый — узлы кушаков, расшифрованные мною как маршруты возов. Второй — видимые трубы хуторов, отмеченные огнями. Третий — молчание. Тот факт, что на карте сети есть пустое пространство, которое никто не заполняет огнём.

Я взял уголёк из подсумка Саввы. Запас угля для натирки стволов теперь служил чернилами для карты врага. Я обвёл большой круг вокруг всех известных мне вспышек. Внутри круга — ни одной трубы. Ни одного огня. Ни одного узла.

— Если огней нет, — прошептал я Фролу, который сидел рядом, протирая фузею, — значит, их прячут. Или они там, где свет не нужен.

Фрол поднял голову. Его глаза, покрасневшие от недосыпа, горели азартом.

— Прячут? Зачем? Свет — это знак для своих. Без знака они заблудятся.

— Они не заблудятся, — ответил я. — Они идут по дороге, которой нет на нашей сетке. По примятой траве, что ведёт вдоль воды.

Я соединил линию примятой тропы с центром чёрного круга. Линия пересекала пустоту ровно в одной точке — у старого брода, за которым начиналась камышовая стена.

— Стан не там, где горят огни, — сказал я, проводя пальцем по бересте. — Стан там, где темно. Где нет маяков. Потому что маяки нужны для связи с внешним миром. А стан внутри мира врага может быть тихим.

Это была гипотеза. Но она объясняла всё. Объясняла, почему возы шли мимо труб. Объясняла, почему именно у воды на сетке глухо и почему туда стоило идти осторожнее. Враг использовал воду как естественный экран. Свет там не нужен. Там слышно только скрип осей и плеск вёсел.

Мы решили проверить это. Но проверка требовала выхода наружу. Требовала риска.

Вечер опускался на топь. Небо становилось фиолетовым, и в этой гамме серый цвет нашего камуфляжа терялся идеально.

— Мне нужно видеть коло, — сказал я Кузьме. — Оседание колёс. Только по звуку я не пойму, муку везут или железо. По колее видно одно: глубокая колея — груз тяжёлый. А тяжёлый воз по размокшей тропе не потащат — повезут рекой.

— Там часовой, — напомнил Кузьма. Я смотрел на него из-за края канавы: фигурка мерно ходила у камня, как маятник.

— Восемь шагов вперёд, восемь назад. Пауза у камня. Я знаю его ритм.

Я встал. Левая рука держала нож «А. Р.» свободно, правая висела мёртвая. Я почувствовал, как тело напряглось перед прыжком в неизвестность. Это был мой ход. Мой риск.

— Ложись, — приказал я Фролу. — Прикрой меня стволом. Если он повернётся — стреляй в ногу. Не в грудь. В ногу. Нам нужен язык, если будет крик.

Фрол улёгся, фузея упёрлась в край канавы. Яшка, несмотря на запреты, тоже прижался к земле, держа свою фузею наготове.

Я пополз. Земля была мягкой, влажной. Каждый звук шороха травы отзывался эхом в моей голове. Ползти надо было на тень часового. На паузу.

Вылез на бровку. Голову приподнял на два пальца. Отсюда открывался вид на колею у старого мельничного стана. Там стояли три воза.

Часовой ходил. Высокий, в песцовых шкурках на плечах, хотя сейчас лето — шуба была накидкой, а не одеждой. Он курил. Дым вставал столбом, и в этом дыму видно было, как он скучает.

Я смотрел на колёса.

Первый воз. Ободья чистые, сухие. Порожняк.

Второй. На ступицах тёмный поясок грязи. Груз есть, но не критичный. Может быть, зерно. Может быть, ткани.

Третий. Я прищурился. На заднем колесе осадка двойная. Глина налипла толстым слоем, выжатая весом. Трава под колесом продавлена до чёрной земли, до сердцевины. Этот воз гружёный тяжело. Очень тяжело.

И вдруг я понял. Если воз так тяжёл, то по примятой тропе его не погонят. Тропа после вчерашнего дождя мягкая, колёса провалятся. Груз снимут с телеги и перевезут по воде: бродом, протокой, которая ведёт к большой реке.

Голос часового долетел до меня. Он окликнул кого-то. Не по-шведски.

— Кладэ, брор! (Клади, брат!)

Русский акцент. Или... русская речь? Нет. Шведский диалект, но интонации... знакомые. Слишком знакомые. Будто кто-то учил шведа говорить по-русски, или наоборот.

Но главное я увидел. Из-за угла балагана вышел второй человек. Он не нёс оружия. Он нёс бумаги. Он подошёл к третьему возу, проверил мешки, и его рука коснулась верёвки, которой стянуты тюки.

На мгновение солнце высветило его профиль. Широкие плечи, прямой нос, спокойная походка. Он говорил что-то возчику, указывая на запад. Возчик кивнул.

Имени его я не знал. Но фигуру и направление я запомнил. Запад. К Ворскле.

Часовой вернулся на пост. Я медленно, по одному движению, отполз назад. Сердце билось где-то в горле.

В канаве партия ждала меня молча. Я залёг на дно, и сырая земля принялась остужать спину.

— Что ты видел? — спросил Кузьма.

— Тяжёлый груз. Идти будут водой. Не тропой.

Фрол недоверчиво фыркнул.

— Ты же подполз к самой бровке. Часовой мог услышать тебя в двух шагах.

— По глине на ступицах, — сказал я. — Коло не врёт. Чем тяжелее груз, тем глубже садится ось, тем больше липнет грязи на нижнюю часть колеса. Третий воз сидит глубже первых двух. Глина налипла толстым слоем, выжатая весом, — груз тяжёлый. Что в нём, по глине не докажешь. Мука ли, железо ли.

— А часовой? — спросил Яшка.

— Скучает. Ждёт смены.

— Давай снимем его, — предложил Фрол. В его голосе звенела сталь азарта. — Сейчас, в темноте. Один нож. И у нас будет проход к возам свободный. И язык живой.

Я посмотрел на него. Этот азарт был понятен. После прошлой ловушки, после того, как нас чуть не взяли в мешок, хотелось вернуть контроль любым ходом.

— Нет, — сказал я тихо, но так, что каждый услышал.

— Почему? — Фрол подался вперёд. — Мы можем взять его прямо сейчас. Пока он один. Пока свежий караул не встал.

— Ты думаешь о часовом, — ответил я. — А я думаю о стане. Сними часового — и через минуту стан поднимется весь. Звеня оружием, с фонарями. Они пойдут по нашим следам. А мы? Мы будем бежать в темноте, по топкому берегу, семером, с одной ладонью, что не держит ствола. Куда мы денемся? В камыши? Там они нас возьмут в кольцо.

— А если не возьмут? — настаивал Фрол.

— Возьмут. Потому что они ждут нас. Не почту. Нас. Догадка это, не признание: купленная врагом весть о возможности русского выхода — она стоит в той расписке, что лежит у нас за пазухой. Староста под удержанием, нового доноса не было. Но враг допускал наш выход. Потому и ждал нас здесь. Они знают, что мы голодные и раненые. И они ждут, когда мы сделаем глупость. Например, снимем часового.

Фрол замолчал. Его челюсть сжалась.

— Розыск, не бой, — повторил я слово из указа Клокова. — Наша задача — увидеть стан и вернуться. Не убить охранника. Убить охранника — это подвиг. Вернуться с картой стана — это победа.

Я перевёл взгляд на каждого. Кузьма кивнул. Яшка отвернулся — как показалось, из стыда за желание помочь командиру силой вместо ума. Фрол долго молчал, потом лёг обратно в яму.

— Ладно, — сказал он глухо. — Лежим.

Этот урок власти стоил мне больше, чем любой выстрел. Я показал им, что командир платит за знание своим терпением. И что терпение дороже азарта.

Закат красил небо в цвета крови и меди. Время смены подходило. Я взял фузею Кузьмы и начал делать зарубки на её прикладе.

Руки. Наша семёрка сосчитала движение сама, своими глазами, без чужих донесений. Примерно двадцать душ внутри стана. Плюс охрана снаружи. Плюс возчики.

Возы. Пять штук. Три на берегу, два готовятся к погружению.

Вес. Тяжёлый. Вода принимает.

Смена. В полночь. Часовой меняется каждые четыре часа. Следующая смена придёт за десять минут до срока.

Я записал всё это в дереве. Береста могла промокнуть. Дерево выдержит воду. Оно выдержит кровь.

— Пора уходить, — сказал я.

Мы собрались. Вместо отдыха этот день выдал нам сведения, и заплатили за них целым днём в грязи.

Выбрались из канавы. Полынь за логом была высокой, зелёной, безопасной. Мы пошли по направлению к воде. Не по тропе. По руслу. По памяти Мокшана.

Но когда мы прошли первые сто шагов, Мокшан замер. Его рука легла плашмя в траву. Знак стой.

Он подполз ко мне, и я впервые увидел на его лице ужас.

— Гляди, командир, — прошептал он, указывая пальцем вперёд, на стену камышей.

Я посмотрел. Ветер с воды дул ровно, сильными порывами. Весь камыш на берегу ходил волнами, шурша сухими метёлками.

Но одна полоса, шириной в несколько человек, стояла мёртво. Она не шевелилась. Она не дышала ветром.

Там лежали люди.

Засада. Не случайная. Не охранная. Специально выставленная на нашем пути отхода. Так я читал замысел: Хьельм ставил ловушку на охотников. Выходит, он разгадал нашу науку и ждал, что мы пойдём водой, чтобы не оставить следов. И он лёг именно там.

Единственная дверь отхода заперта живым тростником.

Стан позади. Вода слева. Вал справа. И чужие люди впереди.

Я сжал нож в левой руке. Холод железа обжёг ладонь.

— Лежать, — приказал я.

Партия легла в мокрый мох. Мы не могли идти вперёд. Мы не могли вернуться назад, в канаву, где нас могли уже искать.

Мы были внутри чужого замысла. И первый шаг я делал теперь в ожидании. В ожидании того момента, когда чужой порядок даст сбой.

Глава 5

Мокшан не сказал ни слова. Его рука, тяжёлая и жилистая, легла плашмя в мокрый мох передо мной, как печать на документ. Стой.

Я замер. Холодная земля сквозь тонкую ткань рубахи впивалась в живот. Я медленно поднял голову, прижавшись щекой к сырой траве. Ветер с воды дул ровно, сильными порывами, гоня по камышовому полю волны. Весь тростник шевелился, шуршал сухими метёлками, жил своей жизнью. Но одна полоса, тянущаяся от лога к воде, стояла мёртво. Она не кланялась ветру. Она не дышала. Там лежали люди.

Засада — так я понял сразу. Крюк, выстроенный против нас. Так обычная охрана возов не лежала, и сонный часовой людей так не расставлял. Нового доноса, по моим прикидкам, не было: староста стоял под удержанием. Скорее, Хьельм ставил её с расчётом: военный противник мог сам предусмотреть водный отход — кто уходит без следов на суше, тот идёт водой. И он лёг именно там, где нам было суждено пройти.

— Лежать, — приказал я шёпотом, который слышали только те, кто лежал рядом. Голос мой был ровным, хотя сердце колотилось так, что отдавало в висках.

Партия нырнула в низину за логом. Кузьма упал первым, топор подтянулся к груди. Яшка, бледный, но твёрдый, занял место замыкающего фланга, развернувшись лицом к тому месту, откуда могли прийти с другой стороны. Фрол, вернувшийся к фузее по своей воле, прижался к земле, держа её над собой. Мокшан ползком вернулся ко мне.

— Сколько? — спросил я.

— Полосу видел всю. Длинная. Человек десять, может двенадцать. Лежат плотно. Слышно, как вода бьёт в сапоги. Рвано, толчками, вразброд. Значит, ноги стоят на дне.

Я закрыл глаза. В темноте обострилось всё. Различались дыхание своих людей, тихий скрип кожи ремней, далёкий плеск воды. И сквозь всё это шла чужая пустота. Там, в мёртвом тростнике, стояла тишина, натянутая как струна.

Мы были внутри чужого замысла. Единственная дверь отхода заперта живым тростником. Стан позади, вода слева, вал справа. Бежать некуда. Вступать в бой на чужих условиях — самоубийство. Нас мало, мы ранены, мы голодные. А враг свежий и знает наш маршрут.

Я думал быстро, механически перебирая варианты. Ложный счёт? Засада повелась бы на голос из пустоты — едва ли. Огонь? Склянка смолы у Кузьмы одна на всех, а жечь её здесь, среди своих же в камыше, значит ослепить себя дымом и подсветить выход врагу.

Внезапно в голове вспыхнул образ той ловушки, что на нас уже ставили: приманка, выложенная напоказ, чтобы дождаться хода дичи. Тогда Хьельм тоже ждал нашего хода. Теперь он ждал реакции. Засада должна была дать залп, когда партия войдёт в горловину. Если партия в горловину не войдёт, засада останется ждать. До рассвета. Но лежать столько часов в одном месте нельзя: где-нибудь шевельнёмся, кашлянем — и нас обнаружат.

Или... или они начнут движение сами, если поймут, что дичь сорвалась.

Я открыл глаза. Повернулся к Мокшану, потом к Кузьме.

— Слушайте сюда, — сказал я тихо, но так, что каждый напрягся. — Они ждут нас. Ждут, когда мы полезем в горловину. Если мы не полезем, они будут ждать до утра. А утром увидят.

— Что делать? — спросил Фрол. По дрожи в голосе я понял: это была дрожь нетерпения.

— Мы не будем проходить мимо них, — ответил я. — Мы пройдём сквозь них. Но иначе, чем они ждут.

Я начал раздавать команды. Быстро, чётко, без паузы.

— Кузьма, Яшка — со мной. Мы идём в воду. Прямо под левое крыло крюка. Там глубина есть, я видел.

— А они? — Яшка кивнул на тростник.

— Они видят берег. Они ждут шагов на суше. В воде их не видно. Но их надо отвлечь. Фрол, ты с Прокопом и Пронькой остаёшься на берегу. Когда услышите мой сигнал — подайте шум. Звук, без крика. Рубите тростник, ломайте ветки. Имитируйте движение большой группы назад, к валу. Пусть они решат, что мы отходим через лог.

— Пойдут на вас? — спросил Мокшан.

— Часть пойдёт проверить, а часть останется на месте, ожидая нас. И тогда мы ударим им в спину. Из воды.

Это был рискованный план. Слишком рискованный. Если Фрол не справится, если чужие не купятся на обман, если засада сохранит порядок и не разбредётся... Тогда мы окажемся в ловушке вдвое плотнее.

Но другого выбора у нас не было.

Я посмотрел на каждого. В глазах Кузьмы читалось согласие. В глазах Яшки — азарт. В глазах Фрола — ответственность.

— Идём, — сказал я.

Ночь стала другой. Она перестала быть фоном и превратилась в инструмент.

Я снял сапоги. Оставил их там, где нельзя было идти. Босые ноги погрузились в мутную воду протоки. Холод обжёг ступни, свёл мышцы судорогой. Я не издал ни звука. Нож «А. Р.» держал в левой руке, прижав к боку. Правая рука висела мёртвой тяжестью, перевязанная ремнём к рёбрам.

Кузьма шёл рядом. Его топор был привязан к поясу, чтобы не звенеть. Мы двигались медленно, шаг за шагом, проверяя дно носком ноги прежде, чем перенести вес. Вода доходила до пояса. Течение было слабым, но оно мешало. Каждый всплеск воды звучал как выстрел в этой тишине.

Я подал сигнал — дважды ударил ладонью левой руки по воде, коротко и негромко.

На берегу, за спиной, начался шум. Сначала один сухой хруст, затем второй, третий. Кто-то ломал тростник, изображая уход группы. Крика не было, только звук движения. Тяжёлого, неуклюжего. Как будто люди бежали, спотыкаясь.

Я замер. Сердце пропустило удар. Потом ещё один.

Из мёртвого тростника слева донёсся короткий оклик. По-русски. Резкий.

— Куда?

Затем ещё один голос, дальше, справа.

— Тише!

Засада реагировала. Часть людей начала подниматься, проверять источник шума. Земля отдавала вибрацию даже сквозь толщу воды. Шаги. Много шагов. Они уходили в сторону лога.

Но шагали не все.

Я продолжил движение. Медленно, сантиметр за сантиметром. Левое крыло засады осталось неполным. Половина людей ушла на проверку ложного следа. Остальные, судя по всему, лежали на своих местах, ожидая возвращения товарищей или появления русских с другой стороны.

Они были в трёх шагах от меня. Пахло потом, табаком и сырой тканью. Совсем рядом, буквально в двух шагах, дышал человек.

Вдруг этот человек зашевелился. Встал.

Над водой поднялся силуэт. Высокий, широкий в плечах. Чужак выпрямился, осматриваясь. Он не стрелял. Он искал глазами.

И его взгляд нашёл меня.

Глаза чужака расширились. Рот открылся для крика.

Я не стал ждать. Бросился вперёд, поднимая воду фонтаном. Левая рука взметнулась вверх. Нож вошёл точно под челюсть противника.

Тот хрипнул. Его тело дёрнулось и обмякло. Я потянул нож из-под челюсти левой рукой и убрал его на пояс, затем ухватил убитого за ремень, утягивая вниз, в глубину. Вода сомкнулась над нами.

Это был первый удар. Но это не была победа.

Со всех сторон ожили тени. Те, кто остался в засаде, поняли: русские здесь. В воде. Под самым носом.

Крик «Рябов!» пронзил ночь. Его подхватили многие голоса разом. Это имя стало сигналом тревоги.

Я вынырнул, отпуская тело первого убитого. У самого лица в воде расплывалась кровь. Второй чужак прыгал на меня с берега. Фузея его была направлена вниз, стволом в воду.

Я сделал подсечку. Левая нога ударила по щиколотке противника. Чужак потерял равновесие и рухнул в воду прямо на меня.

Мы сцепились в грязи и тине. Второй чужак был силён. Он бил кулаками в лицо, пытался достать нож. Я уклонялся; усталость и холод тянули каждое движение вниз. Я перехватил запястье врага, развернул корпус и нанёс удар коленом в пах.

Он захрипел, сложился пополам. Я не давал ему уйти. Я схватил его за воротник и снова толкнул под воду. На этот раз дольше. Пока сопротивление не прекратилось.

Подняв голову, я увидел Яшку. Тот, выставив фузею как копьё, шёл к Кузьме на помощь — открыто, шумно, чтобы прикрыть фланг и дать о себе знать. Но противник был юрким: он увернулся от размаха Кузьмы и на взмахе клинком рассёк Яшке плечо. Яшка охнул, отступил и осел в воду, прижимая рану ладонью.

Кузьма рванулся наперерез, наваливаясь корпусом и отвлекая врага на себя. Этой секунды мне хватило. Я бросился в бой — без оружия в правой руке, но со скоростью — и врезался в противника всем телом, сбивая того с ног. Мы упали вместе в воду.

Он оказался быстрее в ближнем бою. Он выбрался из-под меня первым и занёс кинжал. Блеск стали метнулся перед глазами. Я попытался оттолкнуть руку, но силы уже уходили. Холод, кровь, усталость брали своё.

Удар пришёл в левую ключицу. Боль была такой острой, что я вскричал. Кровь пошла тёплыми толчками, окрашивая воду, — резанута мышца у ключицы, кость цела, и это надо было зажать, пока не разошлось.

Но эта боль дала время. Он, видимо решив, что ударил смертельно, замедлился. Он смотрел на меня сверху вниз, улыбаясь.

Я собрал остатки сил. Левая рука, свободная от ножа, ударила снизу вверх, в горло противника. Пальцы сомкнулись на кадыке. Тот захрипел, выронив кинжал.

Кузьма подоспел в то же мгновение. Он не добивал: ударил топорищем и обухом по спине чужака, сбивая его с меня и обрывая борьбу. Кинжал чужак уже выронил, хрипя, — тот ушёл в воду сам. Кузьма подхватил меня и вытащил из боя.

— Назад! — крикнул Кузьма, глядя на приближающиеся тени с обоих берегов. — В русло!

Жгучая пульсация наливала кровью рану у ключицы, и я понял: мы сделали своё дело. Засада была сломана изнутри. Её порядок нарушен. Люди растеряны.

Но мы не выиграли бой. Мы лишь выжили в нём.

Фрол на берегу выстрелил. Преследователи залегли; пока он шомполом гонял заряд в ствол, они не поднимались. Второй выстрел припечатал их к земле окончательно — и дал партии отступить.

Я плыл. Или скорее, меня тащили. Кузьма волоком вытянул меня на мелководье, где вода доходила до колен. Яшка, сам раненный в плечо, едва держался на ногах; Кузьма опустил его на отмель под присмотром Фрола и повернулся ко мне. Фрол замыкал, стреляя наугад в темноту, где мелькали фигуры преследователей.

Хьельм не бросил всю ватагу в лобовую атаку. Должно быть, он посчитал потери. Двое убитых в воде, один раненый. Русские показали зубы. Фахтер не покупал трупы по цене победы. Его голос долетел сквозь тростник, спокойный, почти вежливый:

— Не торопитесь, Рябов. Там мелко.

Это была ложь. Я знал по сетке и промерам Яшки: там глубоко, там ямы. Хьельм, судя по всему, хотел, чтобы мы повернули назад, в камышовые заросли, где нас окружат. Или хотел, чтобы мы поверили в глубину и шли уверенно прямо в западню на открытой воде.

Сразу на кровавом мелководье Мокшан прижал рану у моей левой ключицы, Кузьма затянул повязку — крепко, так, что кровь встала: дальше я действовал через боль, но не истекал. Кузьма тем временем снова поднял Яшку себе на спину — уже для выхода. Я остановился, опираясь на плечо Мокшана; под повязкой билась ровная, сдавленная пульсация. Левая рука тяжело висела, пальцы едва слушались.

— Стой, — прошептал я.

Кузьма замер, готовый закрыть меня собой. Яшка обернулся, бледный от холода и страха, но с горящими глазами.

— Они хотят, чтобы мы вышли на берег, — сказал я, глядя на темную стену тростника слева и на светлую рябь справа. Враг давит слева, оттесняя вправо, к берегу, где стоят чужие дозоры. — Чтобы нас взяли живьем или убили на песке.

— Куда тогда? — спросил Мокшан, стоявший рядом.

— На воду. Прямо на них. Туда, где им больнее всего смотреть.

Я прикинул, что Хьельм должен рассуждать так же, как я сам. Фахтер бережёт патроны: в темноте, среди тумана и своих же засадников, каждый выстрел грозит угодить в своих людей. А ещё Хьельм боится перед ними осрамиться — фахтер, который палит по собственному берегу,

теряет лицо перед отрядом. Крик «Рябов!» уже прогремел: Хьельм знал, кого ждёт, и ждал партии на суше. Русский отряд, смешавшись с туманом над водой, станет для него неразличим. Вода — неизвестность. Но другого выхода не было.

Я махнул рукой, указывая на серую гладь протоки, которая расширялась, становясь рекой.

— Идём туда. Где они ждут меньше всего.

У оставленной береговой снасти, мимо которой мы выходили, лежал брошенный топор с синей круткой на топорище. Кузьма подобрал его и привязал темляком у моего правого локтевого сгиба: моя правая кисть не держала — локоть держал. Партия, истекающая кровью и холодом, сделала свой последний шаг в эту ночь. Мы пошли навстречу большой воде, оставляя позади тёмный камышовый берег и голос врага, который впервые назвал меня по имени.

Мой топор с синей круткой висел на темляке у правого локтевого сгиба, тяжёлый и мокрый, как чужая рука. Я чувствовал, как холод воды проникает сквозь ткань рубахи, впивается в разрезанную ключицу, но боль отступила на второй план, утонула в азарте движения. Впереди темнела стена камыша, а за ней — гул, низкий, ровный, похожий на дыхание спящего зверя. Это была большая река, развернувшаяся передо мной во всю ширь.

Кузьма нёс Яшку на спине, ноги Кузьмы скользили по дну вязкого русла, но шаг держал ровно. Фрол замыкал, водя стволом фузеи над головой, чтобы порох не промок. Мокшан шёл первым, читая воду ладонью, щупая дно носком сапога. Он молчал, и в этой тишине слышались только плеск и далёкое скрипение чего-то большого и деревянного.

Я остановился, прижавшись плечом к влажному стеблю тростника. Глаза привыкали к сумеркам, и передо мной открылась картина, которая перевернула весь расчёт стана. Ворскла. Широкая, тёмная, она дышала туманом. На воде качались плоты, связанные толстыми брёвнами, гружёные мешками с мукой и ящиками. У дальнего берега, в тени ольховых зарослей, стоял длинный шведский баркас. В нём горел одинокий фонарь — жёлтое пятно, отражавшееся в чёрной глади. На берегу ходили люди. Ни ватажников Хьельма, ни оборванцев из слободы. Синие кафтаны. Шведские солдаты регулярного войска.

Стан оказался перевалочным узлом. Мука уходила водой, прямо в тыл шведской армии, минуя все сухопутные кордоны и дозоры Клокова. Розыск превращался в войну снабжения. И груз уже уходил.

У причальной сваи баркас медленно отваливал от берега. Гребцы налегали на весла, корма отходила, натягивая канаты. Ещё десять минут — и доказательство сети уплывёт навсегда. Лодок у нас не было. Догнать их было нечем. Пороха осталось на два выстрела, да и те могли выдать позицию. Бежать назад? Оставить врагу хлеб и остаться ни с чем? Нет.

Я повернулся к Кузьме. Он опустил Яшку в мелководье, тот вздохнул, привалившись спиной к твёрдому плечу друга. Лицо Яшки было белым, губы синими, но глаза горели живым огнём.

— Долг... ствол... я живой... — проскрипел он сквозь зубы, и эта шутка, сказанная через кровь и холод, ударила меня сильнее любого приказа. Отряд жил. Отряд помнил свои счета.

Я посмотрел на берег. Сухой верхний слой камыша торчал над водой, как соломенные копны. Ветер дул с берега на воду, ровный, сильный. Смола. Её запас лежал в склянке у Кузьмы, за пазухой. Одежда на нас была мокрой, бесполезной для поджога. Но тростник... Тростник мог гореть.

— Смола есть? — спросил я тихо, перекрывая шум воды.

Кузьма молча достал запечатанный сосуд.

— Тогда тростник. Сухой верх. Ольха на шесты.

Я указал левой рукой на полосу берегового камыша, идущую вдоль фарватера.

— Подожжём берег. Дым и огонь лягут на фарватер. Баркас не сможет пройти сквозь дым, не потеряв управление. Гребцы остановятся. Мы возьмём груз, когда они выбросятся на мель или причалят к нам.

Мокшан обернулся, его лицо исказилось тревогой:

— Нас самих видно будет. Как мишень.

— Пусть видят, — ответил я, чувствуя, как пульс отдаёт в висках. — Пусть знают, что мы здесь. Пусть Хьельм видит, как горит его хлеб. Следующий раз приходим не смотреть.

Кузьма взял трофейный топор ватажника — на минуту, вместо своего боевого, — а рядом встал Прокоп. Я руководил рубкой голосом и лёгким жестом левой руки, через боль: обе мои руки были повреждены, потому ни одну из них я не нагружал. Первый удар пришёлся по сухому стеблю камыша. Второй. Третий. Пучки тростника падали на землю. После рубки Кузьма вернул трофейный топор на темляк мне и взял свой. Прокоп вылил на собранные связки единственную склянку смолы — целиком, до дна, без остатка. Огниво Клокова я подал ему левой рукой, едва разжав пальцы. Прокоп опустился на корточки и принялся высекать искры в собранный сухой верх камыша; тот затлел, задымил, и Прокоп раздул его до первого огонька. Огонь вспыхнул мгновенно, рыжий, злой, жадный. Пламя лизало сухие метёлки, поднимая столб искр в ночное небо. Дым валил густой белой стеной, по ветру, прямо на реку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.